

Окончание. Начало в журнале «Огни Кузбасса». 2019. № 6.

ГЛАВА 26

Достоевскому, примостившему топориче на правом плече, путешествие по самому центру города доставляло не только удовольствие, но и настоящее наслаждение. Здесь его никто не знал в лицо и не догадывался, что в крестьянской одежке шагает приезжий офицер из далёкого Семипалатинска. Пусть думают что хотят... Может, идёт человек, решивший загубить жизнь местной процентщицы...

Вергунова ещё не было. Внутри дома Исаевых расстилался проникающий с улицы холод. Этому способствовал ветер, дующий прямо в сторону оконной стены.

– Да вы, Фёдор Михайлович, садитесь, особо не смущайтесь! – показала на стул хозяйка. Лицо её было сегодня менее приветливым и даже выражало некую обиду. – Ко мне, бывает, заходят многие лица мужского пола. Дня, наверно, такого не проходит. Вот наемдн Николай Вергунов суркового жира приносил. Доктор Гриценко Николай Семёнович рекомендовал его при моей болезни. Наш общий знакомый Вагин с напарником две подводы дров привёз. Отец Тюменцев

приносил Паше сладостей. Сегодня вот вы у нас оказались...

– Не на дела ваши домашние я приехал посмотреть, любезнейшая Марья Дмитриевна... Я на вас захотел глянуть и побыть рядом с вами лишнюю минуту, – Достоевский перевёл дыхание, остановил взгляд на лице любимой женщины, но никак не мог отыскать её взгляда – тот был неуловим.

11

– Родная моя! – Фёдор поднялся со стула и ступил два шага, намереваясь обойти стол.

Но Мария Дмитриевна на такое же расстояние удалилась. Он сел. Мария Дмитриевна прошла в кухонный закуток, оттуда донёсся её голос.

– Сначала выпьем чаю и поговорим, друг мой бесценный.

Фёдор чувствовал, что скопившаяся на него обида Марии Дмитриевны ещё не исчезла.

В одном из последних писем она изложила своё мнение о слухах, которые дошли до неё из Семипалатинска. Там её знал почти весь город. Для многих не являлась секретом любовная привязанность солдата Достоевского к жене пьянчуги Исаева. Правда, когда тех перевели в Кузнецк, злых языков поубавилось. Но они не исчезли вовсе. Жены некоторых командиров, оди-

нокие вдовушки и просто любительницы посудачить оттачивали своё злословие на Исаевой и Достоевском.

Мария Дмитриевна как бы мимоходом, но с деликатным укором написала, что на Спас поздравила Фёдора Михайловича с успехами в бальных танцах и вниманием к нему знатных семипалатинских дам. Фёдор Михайлович в обратном письме попытался отшутиться, тысячекратно целовал Машу. А потом дописал, что если Маша разлюбит его, он отдаст себя на растерзание обретающей в Семипалатинске женской своре. Шутка оказалась неудачной и даже роковой...

– Бесконечно дорогой Фёдор Михайлович! – Мария Дмитриевна несколько секунд помолчала и уже другим, твёрдым голосом добавила: – В помощниках у вас будет наш уездный учитель Вергунов. И попомните: он ещё в жизни не изработался... Не усердствуйте, поберегите себя!

Вскоре подошёл Вергунов. Поставил колун у порога. Поздоровались. Ладонь Вергунова оказалась излишне горячей и влажной.

«Значит, волнуется, – определил Достоевский. – Ему и положено волноваться. Видимо, начал усваивать, что оказался на вторых ролях. Да и не бывать ему никогда впереди меня...»

Вышли во двор. Распахнули одну половину широких ворот.

– А ну-ка, попробую своим топориком... Пожалуйста, поставьте на попа вон ту чурочку, попробую её одолеть... – попросил Вергунова Достоевский.

Тот откинул в сторону соседние чурбаки, поставил облюбованный перед Достоевским. Вместо колоды установил кряжистый берёзовый чурбак. Достоевский снял рукавицы, поплевал на ладони, потёр их, раздвинул пошире ноги и, примерившись, вогнал железяку топора в назначенное место.

– Показательно! – с восхищением воскликнул Вергунов. – Теперь их ещё надвое!

Дальше работа шла молча. Минут через десять Вергунов попросил топор Достоевского. Он тоже умел владеть инструментом. Чурбаны, в которых лезвие застревало в кручёной древесине, Вергунов ловко переворачивал над головой и с размаху бил обухом топора о колодину.

Несколько минут покурили.

– Теперь пробуем колун, – предложил Вергунов.

– Верно! – согласился Достоевский.

Но Вергунов не торопился браться за дело. Он помялся, снял с головы шапку, из-под которой хлынул клуб пара, а волосы начали покрываться белёсой изморозью... И вдруг в упор спросил напарника:

– А вы ЕЁ любите?

Вопрос для Достоевского не оказался неожиданным. Он как будто знал, что Вергунов должен узнать именно об этом. И сам обязан был спросить молодого человека о любви к Марье Дмитриевне. Больше нельзя жить в неведении, догадках и домыслах.

– Да. Давно. И навечно. Кажется, я ответил сполна на ваш вопрос, Николай Борисович?

Вергунов, видимо, надеялся на уклончивый и нескорый ответ. Он растерянно промолчал. Топорище выскользнуло из руки. На красивых глазах навернулись крупные слёзы.

– А как же я? Я тоже люблю Марусю. Выходит, вы, Фёдор Михайлович, не оставляете мне никаких надежд? Вы же не откажетесь от неё ради меня и ради неё же?

– Почему ради неё? Счастье Марьи Дмитриевны могу обустроить только один я. Вы же понимаете, уважаемый Николай Борисович, что за вами для неё ничего нет! Пшик! Она же европейская женщина, француженка по отцу, и должна жить в Европе... А что можете дать ей вы в вашем Курятинске? Ухудшение её здоровья, усиление страданий, несбыточность надежд на обеспеченное воспитание сына? Хотя за внимание и чистое тяготение к ней вам пре-большое спасибо!

– Но она имеет ко мне самые благосклонные и не совсем обычные чувства. Маруся – человек, который вселил в меня надежду. У нас с ней начали складываться отношения добропорядочных людей. А вы, Фёдор Михайлович, врываетесь в это благостное состояние и рушите в нём всё, как медведь на пасеке...

Достоевский приподнял свой топор.

– Мы будем работать или продолжать бес-толковый разговор?

Часа через два все чурбаки были переколоты. А ещё через полчаса под навесом не топлёной с прошлого года бани, что стояла в конце огорода, появилась аккуратная поленница. На тёплую зиму дров, пожалуй, хватит. Если же, конечно, топить печи экономно...

На крыльцо вышла улыбающаяся Мария Дмитриевна. Глянула на прислоненную к бане стенку свежих поленьев, всплеснула руками:

– Спасибо вам, мои дорогие! Вы у меня за-
работали сегодня горячий чай! Прошу в дом!

Мария Дмитриевна выстала на стол мун-
дирной картошки, горку квашеной капусты и тарелку с холодцом. Ко всему этому поставила двухлитровый графин с настойкой изумрудного оттенка и три рюмки. Себе налила малую толику – чуть прикрыла доньшко, мужчинам – до верхнего края. Достоевскому вкус настойки навеял воспоминание о Петербурге. Вспомнил, как он оказался в гостях у известного музыкального деятеля и мецената Михаила Юрьевича Вильегорского. Прихватил тогда Фёдора с собой уже порядком подвыпивший Некрасов. Оказавшись в гостях, Николай Алексеевич вёл себя более чем по-свойски, с дамами особо не церемонился, жадно глотал вермут, насильно предлагая его присутствующим друзьям. Пару бокалов опустошил и Достоевский. Он на всю жизнь запомнил тот петербургский вечер и вкус вина, настоящего на необычных травах с альпийских лугов.

Отведав настойки из рук Марии Дмитриевны, чистосердечно заметил:

– Приятный неповторимый аромат!

– Таволга! – улыбнулась Мария Дмитриевна. – Или по-другому – лабазник. В других местах с таким ароматом он не растёт. Я эту настойку сама делать не способна, а вот люди добрые у нас есть, порой балуют... Хранила специально для вас...

Фёдора тронули последние слова Марии Дмитриевны. Интересно всё-таки, для кого она припасла своё зелье? Неужели и для Вергунова? Неожиданно и больно укололо горячее чувство ревности...

Больше к рюмочке хозяйка не прикоснулась, Достоевский выпил половину. А Вергунов опрокинул в рот всё до доньшка и, обтирая губы длинными пальцами, в продолжение разговора артистично продекламировал:

– Лабазник – для души и тела праздник. У нас в Томске так говорят...

Но ни Мария Дмитриевна, ни Достоевский не откликнулись на эти слова.

...В другой раз у Вильегорских Фёдор очутился по приглашению их зятя графа Владимира Алексеевича Соллогуба и его двадцатипятилетней жены Софьи Михайловны. Как помнится, Достоевского тогда неожиданно представили неотразимой красавице, неперменной посетительнице петербургских приёмов и балов. Это была Александра Васильевна Сенявина, белокурая

супруга гражданского губернатора Москвы. Фёдор никогда в жизни не находил так близко к необыкновенной женской красоте. Это настолько его поразило, что, чуть дотронувшись в поцелуе до руки светской львицы, он потерял сознание и упал в обморок. Правда, вскоре всё удачно завершилось, но он понимал, что с ним чуть не случилось ЭТО... Кто-то из стоявших рядом литераторов позднее насмешливо заметил, мол, налетела на нового Гоголя кондрашка с ветерком!

...После большой работы мужчины выглядели весьма утомлёнными. Вергунов заметил стоявшую поодаль кружку, придвинул её к себе и налил из графина по самый верх.

– Предлагаю выпить за любовь! – его глаза остекленело уставились в пустой угол.

Невидящим взглядом он прошёлся по комнате, в которой начал сгущаться сумрак уходящего дня. Сомкнув веки, Вергунов кое-как выпил половину налитого. Остальное брезгливо отставил в сторону.

– Мы, Марья Дмитриевна, пойдём. Поздно, да и, как видите, умаялись немного. За угощение спасибо! Завтра увидимся. Ещё попью вашего усадительного чайку! – сказал, вставая, Достоевский.

– А вы всё-таки надолго в наши края? – спросила неожиданно Исаева. – Или всё мимоходом, Фёдор Михайлович?

Достоевский, не обращая внимания на присутствие Вергунова, чистосердечно и прямо признался:

– Прибыл просить вашей руки! Хочу с вами принять венец. Пока не получу согласия, не уеду отсюда...

Исаева не ожидала таких слов. В порыве чуть не запнулась о скос половой плахи. Не глядя на появившегося за её плечом Вергунова, ответила:

– Я буду согласна!.. Остальное, Фёдор Михайлович, потом...

ГЛАВА 27

Любопытная для вечернего Кузнецка картина: два человека с топорами на плечах бредут той стороной Блиновского переуллка, где снег ещё не исполосован полозьями саней и мало истоптан обувью обывателей.

Слева недалеко у входа в храм стоит робкая толпа из двух-трёх десятков человек – заходя пришли к началу вечерни. Из-за угла про-

шествовало благочинное семейство: долготелый хозяин с супругой, следом за ними три рослые дочери-барышни. Идут в направлении храма.

Достоевскому скоро сворачивать в свой переулок, а с попутчиком не обмолвились ни единым словом. Неожиданно Вергунов остановился и повалился вперёд. Падая наземь, упёрся коленями в снег.

– Господи! – громко произнёс Вергунов. – Прости, помилуй и помоги! Не дай отдалить от моего сердца мою Марусеньку!

Дело принимало анекдотичный оборот. Достоевский, не мешкая, властно сказал своему спутнику:

– Ты что, Николай, на исповедь без очереди пришёл? Мы о ком говорим? О куске золота или о человеке?.. Давай дождёмся утра, она скажет сама, с кем видит на земле своё место...

Протянул руку Вергунову, помог подняться.

– До завтра! Только не потеряй колунишко, сосед не простит такую утрату...

На другой день Достоевский угодил к Исаевым под самый обед. Паша навёртывал просяную кашу, запивая чаем.

– Только после Крещения пойдёт новое молочко, – виновато улыбнулась Мария Дмитриевна и добавила: – После первых отёлов. Чем ребёнка кормить, ума не приложу...

– А вы и не прикладывайте, голубушка моя. Легче не станет. Я вчера не спяна сказал, зачем появился здесь на этот раз...

Он как-то загадочно посмотрел на оробевшую женщину.

– Сказал же: пока не получу заветного слова, не уберусь из вашего Кузнецка...

Присел на разлапистый стул рядом с Пашей. Мальчик облизывал края щербатой деревянной ложки.

– Павлуша, в Семипалатинск хочешь?

Трудно сказать, какие чувства возникли в душе мальчика, какой особый случай из прошлой жизни промелькнул в его голове...

– Сильно хочу. Я помню, как вы нас провожали с дядей Врангелем... Кругом были золотые огни...

Мария Дмитриевна тяжело закашлялась. Долго прикладывала платок к устам. Наконец подняла взгляд.

– У нас с Николаем будет сегодня долгий и мучительный разговор на эту тему. Но для себя решение я уже приняла... Мы с Павликом обяза-

тельно должны уехать отсюда. Как можно дальше...

– Только, маменька, не сидите больше с дядей Колей до самой темноты... Я боюсь оставаться один...

Лицо Марии Дмитриевны от неожиданных слов сына ещё больше залилось румянцем, и она постаралась уйти от начатой темы.

– Тебе, Паша, надо больше гулять с уличными мальчишками. И тогда, как говорил Николай Семёнович, пройдёт всякая боязнь, – повернулась к Достоевскому: – С тех пор, как схоронили Сашу, у ребёнка не проходят навязчивые страхи. Пришлось даже вести его к нашему доктору Гриценко... Славный человек...

Достоевский глянул на мальчика. Погладил по голове.

– Когда я находился в его возрасте, мне тоже казалось, будто кто-то меня остерегает и всё время кричит: «Волк бежит, волк бежит!». Теперь всё прошло... Время, оно лечит...

А мысль, как якорь, зацепилась совершенно за другое. Он ведь тоже оставался иногда до самой полуночи в Семипалатинске с Марией Дмитриевной. Но в любом состоянии, пьяный или полупьяный, тогда за стеной каждый раз находился её живой супруг Александр Иванович. А здесь, в этой дыре, Исаева уже не было... Значит, тёмные вечера они проводили вдвоём... Червь сомнения начинал превращаться в бесноватого крокодила ревности... Нет, Машеньку с сыном надо немедленно вытаскивать из этого проклятого места...

К вечеру следующего дня пошли на чай к отцу Тюменцеву. Человек он был глубокомыслящий, хотя и моложе Достоевского на семь лет. Чай Евгений Исаакович подавал отменный. Подавал, конечно, не он сам, а матушка – двадцатирёхлетняя красавица Елизавета Павловна, дочь протоиерея Спасо-Преображенского собора отца Павла Стабникова... Заодно отведали по два шкалика русской казёнки, что в совокупности с чаем ещё больше приподняло настроение.

– Задумали мы важное дело, отец Евгений. Но без святого осмысления его трудно начать. Хотели бы послушать вашего совета!

В мирской жизни Тюменцев разбирался не хуже, чем в делах церковных. И он, было видно, предполагал, о чём пойдёт сегодня речь. Экспромты Тюменцев не любил. Поэтому у него заранее был заготовлен ответ почти на любую тему.

Заговорил Фёдор Михайлович:

– Хотим мы с Марьей Дмитриевной совершить бракосочетание, так сказать, принять божественный венец...

Но Тюменцев, деликатно прервав гостя, закончил:

– Всё понимаю, дорогие мои, обсуждать эту тему не имею права! А вот советы дать обязан!..

Мария Исаева решила рассказать Вергунову о будущем бракосочетании только после того, как Достоевский покинет Кузнецк. Зачем затевать разговоры, которые могут закончиться лишними спорами или нападками друг на друга. Ночь после расставания с будущим мужем она провела в глубоком беспокойстве. Поднялся жар, полная истощенность внутренних сил валит её с ног. А как только она ложилась в кровать подле сына, не могла не только уснуть, но даже сомкнуть веки. Подушка стала сырой от горячих слёз.

– Ну что мы, Господи, делаем? На что идём? Два больных человека, не имеющих за душой, по существу, ни гроша. Это же для нас обоих обернётся катастрофой... А ещё Пашенька... Он-то в чём виноват перед Богом?

Она вставала, пила капли, снова пыталась заснуть. Пошли мысли о Вергунове. Мария Дмитриевна до боли чувствовала свою большую вину перед ним. Бывают такие минуты женской слабости, когда не думаешь о последствиях...

Фёдор же Михайлович был на вершине блаженства. То, о чём он ежечасно думал в течение последних лет, о чём мечтал до беспамятства даже во сне, наконец начинает сбываться. Теперь два пламени не будут гасить друг друга, будет одно негасимое пламя... Не пройдёт трёх месяцев, и для него откроется новая дорога к будущей жизни. Он сможет писать и писать, докажет своим врагам и завистникам, что Достоевский – писатель огромной... И не только российской величины. Главное, чтоб рядом с ним была его ненаглядная Машенька! Ясочка лучезарная!

ГЛАВА 28

Он, как гончая охотничья собака, спешил к месту, где могла находиться его жертва. Да, собственно, это была и не жертва. Жертвой, скорее всего, был сам Достоевский. Он только теперь понимал, что главную роль в исходе событий будет играть не согласие Марии Дмитриевны на брак и не его превеликое желание стать с ней рядом под венец. Главное – это деньги. Причём

бо-о-ольшущие деньги при его плачевном финансовом состоянии...

Снова скользили по промороженному снегу сани. Ветер, к счастью, дул в попутном направлении. От этого казалось, тройка не мчится по изведанной дороге, а летит, паря над нею. И молчал, к самой стати, кучер. Но в голову лезли мысли о далёком прошлом, особенно о Петербурге. Пришёл на ум Дмитрий Григорович, с ним познакомились ещё в инженерном училище. Только не подфартило человеку. Не по его натуре пришлась учёба в офицерском училище. Дмитрий подал рапорт на отчисление и погрузился в литературу. Пустил байку: будто бы шёл как-то по тротуару и не заметил родного брата Государя Великого князя Михаила Павловича. Не заметил, а значит, не отдал честь. А раз не отдал честь, то значит, вылетел Димка на волю на другой же день... Только самые близкие Григоровича знали, что было не так.

В сорок четвёртом Фёдор и Григорович снимали по комнатухе в доме Прянишникова у Владимирской церкви. Все окна выходили в Графский переулок, потолки низенькие, но жить можно, причём не дальняя окраина... Писал Григорович ровно, не выкаблучивался при письме, его принимали в журналах, печатали. И неожиданно появилось недопонимание друг друга, переросшее в глубокую неприязнь... Достоевский напрягся, но никак не мог вспомнить причину и начало их разлада... Эх ты, времечко!

Вспомнилась чета Панаевых. Иван Иванович и Авдотья Яковлевна. Божественные люди, особенно она. Достоевский понял, почему он вспомнил Панаевых. Не Тургенева, не Майкова, не Тютчева или душевного друга Шидловского. Ах, вот почему... Там же был ещё и одноклассник Достоевского поэт Коля Некрасов. Тогда не по душе пришлось Фёдору открытое волокитство Николая за женой Панаева. Больше того, «добрые люди» передавали из уст в уста, что, мол, у Николая Алексеевича с Евдокси, как именовал свою Авдотью Иван Панаев, роман-с. Да какой! И всё это на глазах мужа. И ещё больший, путанный происходил в его малейшее отсутствие... Достоевский в силу своих убеждений отверг тогда от себя человека, который, по существу, выстелил Фёдору дорогу в большой литературный мир... И с этого времени старался дальше обходить Некрасова, который, по мнению Фёдора, подленько решал делишки своего сердца...

И что? Сам вскоре тоже оказался почти впаданным в семейную историю Панаевых. Фёдор влюбился в хорошенькую донельзя двадцатипятилетнюю женщину. Душу терзали бредовые мысли: «...он для неё будет гением, станет первым в России писателем, и она полюбит его...». Правда, всё прошло так же мгновенно, как началось... Но потом, через десять долгих лет, каковым оказался жизненный поворот! При живом спившемся Исаеве клялся в любви его законной жене и добивался от неё такого же признания.

Достоевский начал путаться в последовательности событий, пропускал степень их важности в прошедшей жизни. Мельничные жернова ворочались в его голове, перемалывали мысли, мешали прошлое с настоящим...

Ещё одно имя, словно тяжёлая хроническая болезнь, не давало ему покоя. Белинский! Он самый! Этот человек возвысил его почти до таланта Гоголя, а потом взял и растёр в порошок, растоптал, как кони топчут подкравшегося к ним скорпиона. И несмотря на славу и небывалый успех, которые были обеспечены молодому писателю критиком, Достоевский одним рывком отступил от него и в дальнейшей жизни старался даже не вспоминать его имя. А вот надо же! Ни с того ни с сего на дальней дороге в сибирской глуши предстал перед ним образ неистового Виссариона...

Всё от него, как от факела, брошенного в стог сена. Стояли белые петербургские ночи мая сорок пятого. «Бедные люди» отосланы в «Современник». Достоевский был так уверен в своём романе, что состояние эйфории не покидало его ни на минуту. Но неожиданно вкралось сомнение и разочарование в написанном. Фёдор ощутил в себе необъяснимый страх. Чтоб выйти из замкнутого круга, он ударился в кабацкий кулёж. А в это время, оказывается, Некрасов и Григорович успели прочитать произведение Достоевского, уловили в нём новое слово и упростили вникнуть в него Виссариона Григорьевича.

При первой встрече с молодым автором Белинский, уставившись огромными серыми глазами, почти закричал:

– Да понимаете ли вы, что сами написали?

У Фёдора жалось в груди. Он на самом деле вдруг испытал страх за свою писанину: как это ему удалось придумать такой сюжет и вывести на страницы тетради непривычные для того времени образы...

Это была первая победа, открыт путь в литературное сообщество. Окрылённый признанием, Достоевский сочиняет «Двойника» и «Господина Прохарчина». И поехало...

Но вдруг всё, что считал Достоевский своим новым достижением, Белинский воспринял острым штыком. В минуты близкого общения он уже не восхвалял бывшего любимца. Человек, которому полностью доверился писатель, выплёскивал такие гадости, которые не смогла принять натура Достоевского. словно ножом ковырял Белинский. Но и этого было мало. С выпадами в адрес автора критик посылал хулу и самому Христу, чем задевал глубочайшую веру Достоевского не столько отрицанием Бога, сколько мерзкими матерными ругательствами в его имя...

Белинский, по мнению Достоевского, увидел в нём только одну сторону – внешнюю, другая же – в душе писателя – была критику неинтересна. Белинский оказался человеком крайностей, для него не существовало середины. И Достоевский повёл себя не уподобляясь прислужливому мальчику. Накопившийся в душе протест он выплеснул враз и жестоко. Как выразился когда-то сам, сжёг Белинского в своей груди. Наверно, он правдиво оценил свои отношения с Белинским в показаниях следственной комиссии по делу петрашевцев, когда заявил, что с известным критиком был знаком довольно коротко в первый год знакомства, довольно отдалённо во второй год, а в третий – был в ссоре и не виделся ни разу, так как они невзлюбили друг друга...

И сейчас, всё больше удаляясь от скованной льдом Томи, Достоевский считал, что, безусловно, был прав в своём отношении к Белинскому. Да и не только он... Скольких литераторов тот превознёс и вскоре по своей воле отрёкся от них. Не случайно в день похорон за его гробом шло не более двадцати человек и среди них всего-то пять-шесть малоизвестных литераторов. Вот ведь как вышло! Похоронили на Волковом кладбище, для бедных. И гроб в спешке опустили кое-как, да ещё под хлюпанье грунтовой воды...

Далеко позади остался Кузнецк. Где-то там под нахлобученной шапкой снега остался домик самой дорогой на свете женщины...

Неожиданная оторопь охватила Фёдора Михайловича. До чего же странными оказались реальные повторения придуманных им образов и описанных им событий... Мистическое совпаде-

ние фактов, непредсказуемое осуществление прежних, несбыточных надежд...

Достоевский вдрог ощутил, что он и Вергунов – всего лишь двойники. А этот неврастеник, яростный поборник правды – Белинский не намекает ли Достоевскому, как у него может сложиться судьба с любимым человеком, с Машенькой? Не поделится ли будущая семейная жизнь Достоевского на три части: сначала на пламенную любовь, потом на отдалённые страсти и, наконец, на полное безразличие друг к другу?..

«Нет, такого не может быть никогда! Потому что я любил, люблю её и буду любить всегда. Даже если она не будет отвечать взаимностью, я не перестану любить!» – чуть не закричал вслух Фёдор Михайлович.

...Ехали в Семипалатинск долго и безрадостно. Не запоминались остановки и ночёвки на ямских станциях. Коротание ночи в Барнауле вышло суетливым и размазанным. Близких друзей в городе не оказалось: кто-то только что уехал, другие ещё не вернулись. В доме Семёнова встретили с радушием, но без хозяина царил сплошной скукотища. Не с кем перебраться добрым словом, посасывая трубку, набитую отменным табаком. И не углубиться в философский спор о вечности бытия и, конечно, божественном смысле разума...

ГЛАВА 29

Одним махом пролетел декабрь, уже заканчивался январь...

Второй день по вечерам Тюменцев растолковывал тонкости проведения будущей свадьбы. Достоевского меньше всего интересовали домашние послецерковные посиделки, да и само венчание он понимал как исполнение установленного церковного ритуала, при этом в душе желая устроить всё как можно быстрее и проще.

– Ну не мной оно придумано! – перекрестился Евгений Исаакович. – Веками складывалось так. Венчание, Фёдор Михайлович, относится к одному из семи Таинств Святой церкви. С его помощью будущие супруги получают особую благодать. Жених и невеста дают взаимные обещания в верности. За это получают Божие изъяснение на рождение и воспитание детей...

Мария Дмитриевна улыбнулась. Это не прошло мимо цепкого взора Тюменцева.

– Да я, батюшка, о своём.

Настала очередь улыбнуться Тюменцеву. Он произнёс с некоторым смущением:

– Простите, я как-то запаматовал, вы же уже однажды стояли под венцом... Тогда все слова мои только к вам, Фёдор Михайлович.

– Я всё понимаю, отец мой, но я человек при исполнении воинской службы. И ограничен во времени. Сроки моей отлучки оговорены с начальством. А оно знает где... На ухо никому не шепнёшь и не докричишься...

– Вы, голубчик мой Фёдор Михайлович, тоже войдите в наше церковное положение. У нас есть писанные и неписанные законы. А исполнять их надо все! При огромнейшем моём желании не могу вас обвенчать в любой день! Хоть убейте! В нашей, Православной церкви венчание нельзя проводить по вторникам, четвергам и в субботу. Это раз! И не в каждый Божий праздник. Два! Да во время постов – уже три! Святки, дай Бог, прошли, а до Сретенья далековато. Ещё бы не угадать на Пасхальную неделю. К тому же серьёзная работа у нашего причта: обыск, опрос поручителей. Кстати, буду рекомендовать нужных и благонадёжных людей...

Помолчал какое-то время, углубившись в себя.

– Поразмыслил я и скажу, что, кроме как шестого февраля, то есть в ближайшую пятницу, у нас ничего не выйдет. Если не получу вашего согласия, то уж как Бог вам даст...

– Я согласен! – сказал Достоевский.

– Да, мы согласны, – подтвердила Мария Дмитриевна.

На другой день Достоевский и Исаева пришли в храм. Достоевский заявил священнику о своём желании обвенчаться. Тюменцев вызвал дьячка, поручил ему, как полагается, записать звание, имя и фамилии желающих встать под венец. Потом объявил, что за три дня сделает оглашение. Миряне, знающие венчающуюся пару, могут сообщить церкви об известных им препятствиях для совершения брака. Вместе с оглашением причт церкви проведёт брачный обыск.

– Если никаких препятствий не возникнет, храм отнесётся с глубоким пониманием к вашей желанию совершить чин венчания.

И Тюменцев ещё раз обратил внимание на то, что приготовления к венчанию должны быть завершены строго до шестого февраля. Достоевский признался, что обручение к настоящему времени совершено во время помолвки, и показал кольцо на безымянном пальце правой руки.

– Только нательные крестики не забудьте!..

Венчание назначили на начало второй половины дня. Кошечья с женихом и невестой прикатила с ветерком в сопровождении ещё четырёх саней. У дверей храма толпился народ, в большинстве местные жители с Подгорья да Форштадта, были тут и нагорские завсегдатаи. Стояли также известные и именитые в городе люди. Поутру небо заваливало землю снежком, а около двух часов выси разъяснились, выглянуло тёплое солнышко.

Новобрачных перед входом в храм встречает отец Тюменцев. Он вводит их в центр храма, останавливаясь перед аналоем. Кто-то попытался протиснуться вперёд, но на него шикнули.

Невеста в голубом платье с длинными рукавами. Подол платья прикрывает верх чёрных пимов. На голове светлый цветастый платок. На женихе – тёмный мундир с золотыми погонами – по одной звёздочке на красном просвете. Начищенные до ослепительного блеска выпуклые латунные пуговицы – по шесть штук в два ряда, на ногах – высокие офицерские сапоги. Невеста стала по левую руку от жениха.

Взошедший было на алтарь Тюменцев возвращается. Впереди него дьяк и подьячий несут Евангелие и святой крест. После благословения священника жених и невеста совершают крестное знамение.

Тюменцев сообщает, что брачный обыск под номером семнадцать произведён. Документ подписан женихом, служащим Сибирского линейного батальона номер семь прапорщиком Фёдором Михайловичем Достоевским, и невестой, вдовой коллежского секретаря Марией Дмитриевной Исаевой, а также их поручителями коллежским ассессором Иваном Мироновичем Катанаевым и чиновником таможенного ведомства Петром Сапожниковым, государственным крестьянином Михаилом Дмитриевичем Дмитриевым и чиновником Кузнецкого училища Николаем Вергуновым. И, наконец, сообщил, что брачный обыск произведён в присутствии членов причта Одигитриевской церкви священника Евгения Тюменцева, дьякона Петра Лашкова, дьячка Петра Углянского и пономаря Ивана Слободского. Жених со своей стороны представил специальное дозволение за номером сто шестьдесят семь от имени командира Сибирского линейного батальона номер семь.

Горбатенькая женщина зажигает венчальные свечи, которые священник передаёт жениху и невесте. Те принимают их в левую руку, жен-

щина подаёт два белых платка – ими обёртываются низ свечей, чтоб стекающий воск не обжигал рук.

Зажжённые свечи в руках пришедшей под венец пары знаменуют радость и любовь, которую жених и невеста питают друг к другу и которая должна быть всю их жизнь пламенна и чиста.

Затем Тюменцев надевает кольца жениху и невесте. Сначала Фёдору, трижды осеняя его крестообразно.

– Обручается раб Божий Феодор рабе Божией Марии во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!

Потом так же, с троекратным осенением, обручается к невесте:

– Обручается раба Божия Мария рабу Божию Феодору во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

На пальце жениха золотое кольцо – символ солнечного цвета и мужской силы, у невесты серебряное колечко – металл символизирует лунный свет и женское начало.

После благословения священника венчающаяся пара трижды обменивается кольцами. Жених надевает своё кольцо в знак любви и готовности жертвовать жене всем и быть ей помощником до конца жизни. Невеста надевает кольцо в знак своей любви и преданности, а также выражая готовность отдать всю власть над собой и принимать от мужа любую помощь.

С этой минуты пришедшие венчаться официально значатся женихом и невестой. Тюменцев читает молитвы и просит у Бога даровать венчающейся паре детей и внуков. Каждый раз, когда крестится священник, крестятся Достоевский и Исаева.

Подносятся венчальные короны, жених и невеста целуют их, после чего свидетели продолжают держать венцы над головой будущих супругов.

В глазах жениха отражается свет угасающего зимнего солнца. Достоевский со стороны кажется смиренным и немного растерянным. Но внутри этого человека бурлит полный котёл страстей.

Фёдор Михайлович косым взглядом замечает, как один из обывателей зевает и шепоткой мелко крестит рот. Посторонняя баба изо всех сил тянет шею, стараясь разглядеть его офицерский мундир... И ещё в свидетелях оказался учитель Вергунов! Какой дурак додумался подсунуть сегодня этого прелюбодея под бок Достоевскому!..

Мария Дмитриевна тоже чувствует себя неловко. Неожиданно пришло на ум воспоминание о дне её венчания с Александром Ивановичем. Тогда на ней было белое шёлковое платье с кружевными оборками, длинное-предлинное, изпод которого не видно было коричневых лакированных туфелек.

... Тюменцев читает молитву Господню «Отче наш». Голос Тюменцева, необычайно торжественный, поднимается до самого купола.

– Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твоё, да приидет Царствие Твоё, да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Ибо твоё есть Царство, и сила, и слава веки!

Прочитав, он осеняет крестным знамением чашу, наполненную красным вином, протягивает её будущим супругам: сначала ему, потом ей.

– Я беру тебя в жены! – несколько раз произносит жених.

– Я беру тебя в мужи! – столько же раз повторяет невеста.

После этого Тюменцев объединяет руки Фёдора Михайловича и Марии Дмитриевны, поверх рук кладёт епитрахилью (широкую ленту, огибающую шею священника и обоими концами спускающуюся на его грудь) и уже на неё возлагает свою ладонь. Это означает, что вечный брак заключён и благословлён небесами.

Жених и невеста поочерёдно целуют иконы Божией матери и Спасителя, после чего Тюменцев ещё более торжественным голосом восклицает:

– Я объявляю вас мужем и женой!

Лицо невесты в эту минуту было, как никогда, бледное, с ярким румянцем. Зато в глазах много света и радости. Она прижалась виском к плечу Достоевского. А тот, словно сошедший с бесконечной карусели, устало замер около новоявленной супруги – кажется, не верит в случившееся. Достал платок и вытирает со лба капельки пота.

Тюменцев берёт чету Достоевских за руки и обводит вокруг аналоя. Все близкие и знакомые отрываются от общей толпы и бросаются к молодожёнам.

Весь обряд длился около часа.

В знак единения двух сердец раздаётся звон с колокольни Одигитриевской церкви. Звон заби-

рается в высоту и плывёт над замёрзшими деревьями и скованной льдом Томью далеко в сторону, куда через несколько дней увезёт удалая тройка семью Достоевских.

ГЛАВА 30

Провожавших собралось немного. Жена Катанаева Анна, укутанная в шерстяную клетчатую шаль, священник Евгений Тюменцев в скуфье и обыденной зимней рясе с воротником, отороченным мехом норки, Михаил Дмитриев в новом овчинном полушубке, Вагин в серых растоптанных пимах – он то и дело поддёргивает уходящий ниже колен зипун, в котором обычно царствует в своей конюшне. Рядом с ним стоит безымянная баба со слезливыми глазами, она пришла сюда с хатенки, что пристроилась на самом берегу Иванцевской протоки, по соседству с огородом Исаевых. И на отшибе с рассеанным, почти пустым взором застыл Николай Вергунов, прижавшись к стволу дерева, как бы спасаясь от южного пронизывающего ветра. Настало время прощания. Обнялись по очереди, поцеловались на дорожку.

Вергунов отлепился от дерева, подошёл сначала к Достоевскому, пожелал немногословно:

– Счастья вам, Фёдор Михайлович!

И, направившись к Марии Дмитриевне, молча похлопал Пашу по шапчонке из линялого зайца. Наконец подошёл вплотную к женщине, которую страстно любил и почти три года нестерпимо желал... Остановился, словно замер. Он не смог прорезать голос, тот будто примёрз к губам. Потом всё-таки с видимым усилием справился с собой. В уголках глаз навернулись слёзы.

– Прощай, Маруся! Дай Бог, ещё свидимся, – голос Николая предательски осел.

Мария Дмитриевна потупила глаза, тихо и медленно прошептала:

– Пусть будет так, как пожелал ты, Коля... А Бог нас не оставит...

Под крестами Одигитриевской церкви за молк звон колоколов, вслед за этим ударил ещё один, как бы прощальный – последний колокол на Спасо-Преображенском храме.

Отец Тюменцев поёжился от холода, несколько раз постучал пимами один о другой, вроде как отгоняя подступающий к ногам мороз... Снял вязаные рукавицы и трижды перекрестил Достоевских.

Нанятый заранее ямщик взглядом поторопливал отъезжающих. Когда все Достоевские

уселись в возок, он коротко присвистнул и взмахнул кнутом. Тройка покатилась сначала вниз, потом, минуя Одигитриевский храм, резво взлетела из Подгорья в пригорок, на котором круто взяла влево и понеслась по наезженной дороге прямо к ледовой переправе через Томь.

– Уж мы точно, Фёдор Михайлович, не увидим эти края, – с грустью промолвила Мария Дмитриевна.

– Бог с ними, милая!

А сам с горечью подумал, что у жены здесь осталось больше, чем полжизни, и она эти годы пребывания в Кузнецке никогда не забудет. До своего последнего часа...

Это-то его тревожило... Не оставшаяся беспризорной надгробная плита на могиле бывшего мужа Марии Дмитриевны с высеченным постарославянски текстом: «Я есть воскресение и жизнь, верующие в меня будут иметь вечную жизнь. Здесь покоится тело Александра Ивановича Исаева. Он умер 4 августа 1855 года». Такой текст придумал когда-то Достоевский... Тревожило назойливое воспоминание об учителе Вергунове.

...Лошади, жадно дождавшись свободного бега, будто парили над зимником, не касаясь его зеркальной поверхности. Слюдяной снег вокруг был божественно чист и искрист. В возке от дыхания в замкнутом пространстве тепло накапливалось, и даже начавшие было мёрзнуть ноги в тёплой обувке помаленьку отогревались.

– Жаль, не было матушки Тюменцевой, Елисаветы Павловны, – с горечью вздохнула Мария Дмитриевна. – Я ей хотела оставить брошь с аметистом. Папин подарок в день моего совершеннолетия.

– Отправим почтой или ближайшей оказией... – поддержал намерение жены Фёдор.

Ему ещё не верилось, что многомесячная эпопея с комом бесчисленных переживаний, надежд и порушенных устремлений – всё это теперь позади. Навсегда позади. Но что-то неясное, подсознательное преследовало его здесь, в возке, так же, как и весь кузнецкий период. Достоевский морщился, тёр пальцем морщинистое надбровье, но никак не мог прогнать это гнетущее чувство. Он повернул лицо к Марии Дмитриевне, обнявшей правой рукой сына.

– Вам не холодно?

– Нет! – и поправила на голове мужа меховую киргизскую шапку.

Память Достоевского возвращала к подробностям его сборов в Семипалатинске. Решение ехать в Кузнецк было единственно правильным. Если не ехать, то можно навсегда потерять своё счастье, к которому он прокладывал дорогу в течение сотен дней...

– Надо немедленно, сейчас! До Масленицы, до Великого поста или никогда! – решил он тогда.

Счёт пошёл не на недели, а на дни. Но где взять эти проклятые деньги? Никто из родных не поможет, даже брат Михаил – ему неоткуда набрать круглую сумму, разве что с пепелища от табачной фабрики... Врангель на этот раз далеко, да и кланчить у него займы – дело скверное, он всегда с недоверием относился к задумке друга. К тому ж у него самого в кармане денег только на текущие расходы. Достоевский перебирал друзей из своей тёплой компании...

Попадая в трудные условия жизни, люди начинают тянуться друг к другу. А тут такая писательская знаменитость, когда-то высоко оценённая столицей. Вот и сколотилась эта случайная компашка, сбегаящая по вечерам в квартире батальонного командира Григория Беликова – одинокого подполковника, чья редкая житейская радость вспыхивает в картах, женщинах или вине... Он, искренний хлебосол и бессребреник (царствие ему небесное, растратив казённые деньги, при передаче дел майору Денисову без раздумий примет за это собственную пулю). К нему обращаться бесполезно...

Ещё Карл Иванович Ордынский – смотритель провиантского магазина. Честнейший ссыльный поляк, пострадал за политику. В сих местах оказался человеком без роду, без племени. Жалованье, считай, никакое. А воровать не хочет да и не умеет. И Достоевский ухватывается за четвёртого приятеля из своей братии. Это горный ревизор частных золотых приисков Николай Никифорович Ковригин. У него, правда, большая семья, в доме постоянные склоки, бесконечная да и небеспричинная ревность жены, к тому же он сам ещё тот ревнивец! И тоже, как у всех, оказавшихся в Семипалатинске, мизерное жалованье. Но Ковригин мужик умный и хваткий. Он знает, где можно уловить лишнюю копейку.

Достоевский после некоторых раздумий хочет чуть ли не пасть в ноги близкому человеку, но Николай Никифорович изыскивает момент и сам неожиданно изрекает:

– Вот что, Фёдор Михайлович! Даю тебе на женитьбу шестьсот рублей серебром. Без всяких долговых расписок и процентов, с возвратом денег в течение года-двух... Все меня слышали?

Но после неожиданных слов Ковригина Достоевский соскакивает с места и в соседней комнате пишет заёмное письмо на обозначенную сумму... А там ещё своих наскреблось около ста рублей, да оставленные Врангелем двести, да от казачьего полковника Хомянтовского сто... При такой общей сумме свадьбы, выходит, не миновать... Ещё достанется всем на гостинцы и подарки, на обратную дорогу из Кузнецка да на первые дни медового месяца.

...Достоевский сощурил глаза – словно от накопившейся боли во лбу.

– Тебе плохо, Фёдор Михайлович? – участливо спросила жена.

– Нет, милая!.. Но прошу больше не называть меня в таком обществе по отчеству! Ты поняла, Машенька? – И улыбнулся. – Мы же сегодня не на балу и не принимаем гостей.

...А заноза не лезет наружу. Застряла где-то в душе.

Достоевский понимает, что что-то в жизни пошло не совсем так. Только он не может отыскать ниточку, за которую следует ухватиться.

ГЛАВА 31

В Барнаул прибыли после десяти вечера. Прямо к особняку Семёнова. Хозяин уже отдыхал в своей спальне, листал журналы, доставленные последней почтой. Удивлялся слаженной работе почтового ведомства: в ноябре прошлого года напечатали журнальчики в Берлине и Париже, а надо ж – сегодня лежат они и пахнут типографской краской в далёком провинциальном городке, название которого ни немцы, ни французы за всю жизнь даже не услышат.

Постучал слуга Никитич, испытанный в путешествиях стрелок и землероец.

– Семейство Достоевских, Пётр Петрович, прибыло из Кузнецка. Каковы будут распоряжения?

Семёнов соскочил, на ходу натягивая тёплые штаны и влезая в жёлтую рубаху, сшитую из китайского шёлка.

– Лошадей – в конюшню, кучера – в людскую, а гостей тащи прямо ко мне! Немедленно!

Обнимались и целовались недолго. Семёнов распорядился готовить застолье, сам проводил гостей к рукомоинику, где всех ждала ку-

харка с льняным полотенцем. После недолгих расспросов хозяин пригласил гостей к овальному столу, установленному посередине зала. Стол охватывала дюжина стульев из берёзового дерева под светлой политурой. На каждом стуле лежало сиденье, обитое зелёным сафьяном. В углу помещения высился огромный шифоньер. Вдоль глухой стены выстроились три книжных шкафа из красного дерева с застёжками и дверцами.

– Жаль, что мне не пришлось присутствовать на вашей церемонии бракосочетания, дорогие Мария Дмитриевна и Фёдор Михайлович! Позвольте хотя бы здесь, в скромном и временном моём убежище, поднять бокал за ваше будущее счастье! А подарок от меня давно ждёт вас.

После этих слов Семёнов протянул бокал с шампанским поочередно каждому из молодожёнов. В какой-то момент все три бокала сомкнулись, и по залу прошёлся хрустальный звон. Паша сидел между отчимом и маменькой, жевал любимые мятные бублики, запивая их клюквенным киселём.

Отужинали отменно. Напоследок Достоевский обратился к хозяину:

– Думаю, мы не обременим вас, Пётр Петрович, если на денёк-два задержимся в вашей палестине...

– Какие разговоры! Этот дом всегда в вашем распоряжении. Оставайтесь, сколько душе будет угодно, мне это только в радость!

– Я Машеньке хотел показать город. Пусть увидит Демидовскую площадь, великолепный вид на Обь. Обязательно посмотрим любительские спектакли в вашем театре. Паше тоже занятно будет с нами. Непременно пройдемся пешочком. Заглянем в лавки и магазины... Надо семипалатинцам привезти гостинцев... – раскуривая трубку, уточнил Фёдор Михайлович.

– Конечно, конечно. Это ж удача – побывать всем семейством в наших сибирских Афинах.

А у Достоевского скользнула едкая мысль, связанная с хозяином застолья. Семёнов пять лет назад потерял любимую жену Веру, умершую от скоротечной чахотки... И вот теперь живёт бобылём – лебедь, преданный своей единственной любви... Где-то на воспитании у родственников находится его пятилетний сын Митя...

Умывшись перед сном, Мария Дмитриевна вошла в спальню. Горел ночной подсвечник. Муж только что разделся и хотел лечь в кровать. Но

неожиданно его тело обмякло, будто сломилось в суставах, и повалилось на бок, вытягиваясь вдоль кровати. Он упал затылком на пол, хорошо, что возле кровати лежал ковёр.

– Опять с тобой случилась беда, Феденька? – бросилась жена к Достоевскому. – Ну как же ты так?

Достоевский лежал навзничь с открытыми глазами, тяжело хрипел. Тело билось в конвульсиях, из уголков губ выступила пена. Почувствовав неладное, в комнату вбежал Семёнов с деревянной ложкой.

– Отойдите, Мария Дмитриевна! Я справлюсь сам. Он может закусить язык.

– А как же я? Я должна всё ЭТО знать... Кто ему поможет в другой раз?

– Вы что, его видите таким впервые?

– Он мне говорил в общем... Что-то слышала раньше от него... Но вот так – для меня неожиданность...

– Надо положить его в постель, помогите приподнять ноги... Никитич, Никитич! Срочно за доктором...

Мария Дмитриевна никак не могла прийти в себя от случившегося, она дрожала, коснувшись ступней мужа, в судороге выскальзывающих из её рук. Через несколько минут тело Фёдора Михайловича обмякло. От него исходили только глубокие протяжные стоны, похожие на печальный вой. Лицо Достоевского побледнело ещё больше, кости черепа, казалось, были видны через кожу.

– Он не умрёт? – с мольбой в голосе обратилась Мария Дмитриевна к Семёнову.

– Нет! – коротко успокоил женщину хозяин дома. – Придёт доктор – скажет, что нам делать, чтобы облегчить участь больного...

В углу размеренно тикали напольные часы. А Фёдор Михайлович продолжал лежать без сознания, словно жизнь покидала его в эти минуты. Наконец появился доктор в пенсне. Долго и внимательно осматривал больного. Спросил, как всё произошло. Ногтем мизинца почесал седенькую бородку. Не глядя ни на кого, изрёк заключение.

– Симптоматическая эпилепсия. Результат сильного переживания, волнений и хронической усталости. К утру должно пройти...

– ТАКОЕ с ним может случаться часто, доктор?

– Этот вопрос, сударыня, должен был задать я. Но если вы имеете в виду проблему в широ-

ком смысле, то не могу вас ничем утешить: ТАКОЕ у него будет всегда, то есть всю жизнь...

Но и утром, и к вечеру следующего дня Фёдор Михайлович не пришёл в сознание. Он, тяжело дыша, лежал с закрытыми глазами, запавшими в глубокие ложбины глазниц. Мария Дмитриевна извелась, потрясённая случившимся событием. Для неё сообщение доктора стало неожиданным ударом, испытанием последних физических и душевных сил. Как всё это могло случиться? Почему именно с ней? За что один крест, который она несла при прежнем муже, ей пришлось сменить на другой, может быть, ещё более тяжкий? За какие грехи, за какое отступление от Бога?

Только через два дня Достоевский наконец открыл глаза. Мария Дмитриевна, доведённая до нервного срыва, машинально и коротко спросила:

– Ты как?

И получила убийственный ответ.

– Со мной разве что-то случилось? Ты почему так взволнована?

Фёдор говорил чужим голосом, односложно и, пожалуй, даже с преднамеренной грубостью. Тон его слов и сами слова окончательно надломили её. Она упала на стул, который не покидала эти дни, и громко зарыдала.

Постучал в дверь, а потом заглянул Семёнов, напуганный необычным плачем.

– Что случилось? Непоправимое?

На вопрос Семёнова Фёдор Михайлович повернул голову.

– Явилось божественное сновидение, даже не хочется поднимать голову... Я всё расскажу позже... Да вы и не поймёте меня... Оно укутывает меня и отдаляет от всех вас...

– У него всё повторится снова? – произнесла Мария Дмитриевна.

– Не думаю, – ответил озадаченный Семёнов, одновременно пытаясь увести женщину в соседнюю комнату. – Он сейчас проживает свою психическую ауру – ощущение невероятного счастья. Ощущает всепроникновение в окружающий мир... Я так думаю. Тело и болезнь в нём не могут никак сговориться и признать друг друга... Но после длительной беседы с нашим доктором думаю, что борьба завершилась... Доктор Янковский глубоко и масштабно разбирается в такой болезни. Я когда-то пытался на данную тему заговорить с самим Фёдором Михайловичем. Но вы знаете, что сказал он мне тогда: его бо-

лезнь есть условие его пророческого труда. Не будь у него эпилепсии в том виде, что он испытывает, он не был бы Достоевским... Поэтому, любезная Мария Дмитриевна, прошу принять и понять его таким в целом или...

– «Или» для меня теперь не существует. После пропойцы с его матюгами в присутствии ребёнка, с его блевотой и запахом мочи я попала в другой мир. Я, честное слово, не знаю, каким он будет для меня дальше... Я разбита и обманута... Не знаю, где нахожусь и что будет со мной завтра... Жалость и добросердечность к этому человеку я, наверное, приняла за рождающуюся любовь... Искренне простите меня...

В этот день Мария Дмитриевна не проронила больше ни единого слова. На неё нашло странное оцепенение. Так было до самого отъезда, когда она выразила благодарность Семёнову за беспокойство, вызванное болезнью мужа. Зато Достоевский то и дело пытался заговорить с женой. Пытался пошутить, но все его слова оказывались не к месту. Он знал свою болезнь, сжился с ней и считал её не карой, а божьим дарованием. Припадки открывали ему окна в иной мир и давали видение того мира таким, какого он не мог испытать в обычной жизни.

Достоевский мало говорил о своих болезнях, а о падучей – ни с кем и никогда. Такой разговор был для него настоящим табу. Он считал приходящие приступы темой, не затрагиваемой никем.

После припадков наступали эйфория и просветление. Но они же отнимали память и физические силы, после чего охватывало мрачное настроение, накапливалась мнительность, раздражительность и чувство вины и греха.

«Плохо, но жить можно. Не все геркулесы и аполлоны, – размышлял в минуты отчаяния Достоевский. – Апостол Павел, с его именем даже связана «болезнь святого Павла», папа Пий Девятый, Сократ, Аристотель, Пифагор, больной и косоглазый Александр Великий – ну и что из того? Ещё Флобер, лорд Байрон – толстый и косолапый шотландец – и тоже ничего! А Юлий Цезарь, Александр Великий или Наполеон – такие же страдальцы от падучей болезни».

Он припоминал Данте, Леонардо да Винчи, Микеланджело... В памяти выплывали образы Иоанна Грозного и Петра Первого, которых мучили приступы такой же болезни... Без сомнений, всех их вело к великим делам и славе только божественное вмешательство...

От тяжких раздумий Фёдору Михайловичу становилось легче. Он в сотый раз убеждался, что зреющий в нём талант больше обязан его болезни, чем здоровью...

ГЛАВА 32

Дорога после Барнаула, казалось, никогда не кончится. Лошади не везли, а волокли возок, причём тряско и медленно. Вдобавок дул пронизывающий встречный ветер. Внутри возка чувствовалось слабое затишье, но жаль было ямщика, которого даже в его овчинном, крытом сукном тулупе наверняка пронизывал ледяной воздух.

Паша за все дни далёкого переезда умирался и дремал, привалившись бочком к матери. Мария Дмитриевна изредка трогала его руки чуть выше рукавичек и, убедившись, что сын не мёрзнет, поворачивала голову к крохотному оконцу, находившемуся с её стороны. Ей ужасно надоело молчать. Но ещё больше она не хотела вести никакого разговора с мужем.

С того момента, как всё произошло, прошло более четырёх дней, сегодня к полночи исполнится ровно пять суток... Достоевский тоже молчал, единственную отраду находя в куреве. Он с наслаждением вдыхал в себя струи крепкого табака. От жгучего дыма кружилась голова, но это в какой-то мере помогало отвлечься от скверных мыслей, тяготивших душу. Фёдор, не говоря ни слова, поворачивался к мёрзлому стекольцу справа от себя и, насупив брови, тоже молчал...

Ночёвка в селе, куда въехали с теменью, оказалась суетной и безрадостной. На этот раз спал, пожалуй, один Паша. Старшие Достоевские тяжело вздыхали, мучительно закрывали глаза, разместившись по разным углам. Так пролетела долгая зимняя ночь.

...Перед въездом в Шемонаиху лошади остановились.

– Не желаете малость освежиться? – деловито предложил кучер, развязывая верёвочки на ушах шапки.

– Пожалуй, нет! – за всех ответила Мария Дмитриевна и с досадой спросила возницу: – Мы до поздних огней до города успеем?

– А как же-с! У лошадок времечко вымерено точь-в-точь! Они ить, барыня, и раньше не придут, и позже себе не позволят.

И опять тоскливое ожидание конца поездки. Только ветер сменился на боковой, стал больше проникать в возок с той стороны, где сидела Ма-

рия Дмитриевна. И ещё въедливый скрип полозьев на околённых проплешинах, откуда постоянно ветродуями повыметало и без того слабый снег.

Наконец въехали в Семипалатинск. Вечерняя темень словно гналась вслед за ними почти с самой Шемонаихи. Город показался Достоевскому каким-то неслаженным, случайным. Даже Кузнецк – место, более приспособленное для жизни. Там тоже не столичные улицы с каменными мостовыми и рядами фонарей, но здесь...

После неисчислимых мытарств и тягот, которые свалились на Марию Дмитриевну в последние дни, она ужаснулась встрече с местом их бывшего, а теперь будущего пребывания.

Проскочили Верхнюю слободку, покатали по переулкам самой большой Татарской слободы. Бесконечным хором встречал путников собачий лай. Огней нигде нет. Сплошной стеной деревянные заборы выше человеческого роста. Если где-то и горели свечи, их огня с улицы не увидишь – таков здесь обычай: окна делать только во двор. Повелось это с давних времён у коренных жителей – татар, чтобы никто не разглядел жену или целый гарем, а у прибывших из-за Урала поселенцев – быть подальше от чужого глаза и нечистой руки... И ещё: калиточки с перекладиной, расположенной на высоте двадцати вершков, – на случай, если худой человек сноровит заглянуть во двор, так его удобней «обогреть» колом или лопатой. Казаки, те, наоборот, селились в избах с окнами к улице – в случае опасности любой стучал в доступное окошко.

И ни единого фонаря – ни на улице, ни в переулках. Только в домах недавней постройки да там, где прижились казачьи семьи, тускло поблёскивали оконные стёкла. Городу было время спать. Фёдор поколупал ногтем налечь в оконце возка, в плотной синеве различил силуэт шестиугольной деревянной мечети. Через некоторое время мелькнул расплывчатый свет двух фонарей, одного – около казармы, другого – у лазарета.

Он приоткрыл дверцу, тут же проник внутрь возка клуб морозного воздуха, крикнул хриплым голосом (даже сам не узнал себя):

– Давай прямо с полверсты – и до углового дома Ляпухиных на Крепостной! Увидишь сразу: на высоком фундаменте...

Уличная дорога была ужасной. Обыватели выплёскивали на неё помои и высыпали печной

огар: золу, уголь и остатки несгоревших костей. Возок мотало из стороны в сторону.

Наконец дорожные муки закончились. Возница остановил лошадей. Приоткрыв дверцу возка, сипло крикнул.

– Кажись, здесь... Аль ещё куды?

Из калитки без шапки и без ремня выскочил солдат.

– С приездом, ваше благородие!

– Пожалуй, лобызаться не будем, Василий!

Помоги лучше Марье Дмитриевне войти в дом...

Крепко сбитый денщик, определённый в распоряжение прапорщика Достоевского незадолго до его отъезда в Кузнецк, взял будущую хозяйку под руку и повёл ко входу, расположенному внутри тёмного двора. За ними, подхватив одной рукой Пашу, а другой – туго перевязанный узел с вещами, потянулся хозяин.

– Печи протоплены, ваше бла...

– Василий, я тебе не раз говорил: зови меня дома просто по имени-отчеству. Понял? А супруга моя будет для тебя Марьей Дмитриевной. Тоже понял? А сын наш – он для тебя Паша. Вот и сказ весь... Давай готовь чай, а я разберусь, что к чему...

Хозяева дома Ляпухины спали, с их стороны на первом этаже ниоткуда не проникал свет. Почтальону надо было вставать задолго до рассвета, бежать на почтовую станцию, к которой он был приписан, а потом, если приходили письма или поступала какая другая оказия, разносить всё это по городу. Ляпухин не имел нужной грамотёшки, и ему, соответственно, не полагался даже самый низший чин. Держали его при почтовой станции за его благонадёжность и, главное, за то, что он не пил и никогда не говорил о политике. Чтобы письма в штемпельных конвертах не пылились на станции неделями, Ляпухин старался разнести их адресатам как можно быстрее. Доставка одного письма казённому получателю и лицам из батальона была бесплатной, а обывателю обходилась в три копейки серебром. В Семипалатинске такие деньги на дороге не валялись...

Ямщику хотелось поскорее размотаться со странными ездоками. Вроде и не жадные господа, рассчитались с ним загодя и сполна, а вот после Барнаула стали больно тягучие, несловохотливые. Видать, пробежала меж ними какая-то собака. Попросили его подождать в Барнауле денёк-два, пока поправится прихворнувший хозяин. А вышло ждать целых четыре дня... Как пить дать, злая собака проскочила...

Ямщик помогал Василию втаскивать вверх по лесенке привезённый скарб и складывать его у порога в втором этаже. Когда всё было перенесено, краснолицый возница, по виду – весь день отстоявший в парилке батальонной бани, повернул потное лицо.

– Значит, я, барин, того... этого... К куме б надо заехать... Переночую у её, а утречком – с Богом, если на заставе не окажется попутчиков...

И жалостливо посмотрел в глаза Достоевскому, да так, что у того дрогнуло сердце. Фёдор вспомнил, как сам когда-то в Петербурге стоял перед редактором журнала в надежде, что тот добавит к авансу лишнюю десятку...

Достоевский порылся двумя пальцами в кармане жилетки, нащупал монету покрупнее и подал её вознице.

– Вот пятак! Может, мил человек, в дороге согдится... Или куме на подарок...

– Как я благодарствую, как я благодарствую!.. – ответствовал воспрянувший духом возница и задом выдавил себя в холодные сени.

После этого Фёдор Михайлович заметно повеселел. Пошёл показывать Паше предназначенную для него комнату в середине этажа.

– Тут никогда не застынешь... Только ушки из-под одеяла не высовывай!

Паша новое жильё облюбовал. А вот Мария Дмитриевна ходила по квартире молча и медленно, шаркала войлочными бурочками, упрямыми под полы длинного тяжёлого платья. И вся по виду неласковая, как чёрная снеговая туча. За целый вечер она не произнесла ни единого слова.

– Я нынче лягу в гостиной, а ты ложись в спальне, – наконец превозмог себя Фёдор Михайлович.

– Как скажешь. Здесь всё решаешь ты.

– Мы оба.

Она снова промолчала.

Спозаранку Фёдор Михайлович постучал в дверь комнаты, где провела ночь жена. Она ответила, что открыто. Достоевский стоял у раскрытой двери растерянный и виноватый. Волосы взъерошены, глаза совсем провалились во впадины.

– Во всём, Мария Дмитриевна, виноват я. Прошу меня простить, что не совладал с собой... Знаю: доставил тебе неимоверное страдание и боль.

Она отвернулась к окну.

– Думаю, наоборот, виновата я. Поздно приняла решение. Довела до того, что случился ваш третий приезд. Он, Фёдор Михайлович, не принёс счастья ни вам, ни мне.

Оба про себя отметили: друг друга называют официально по имени и отчеству, словно чужие люди...

– Машенька! Милая моя! У нас с тобой одна судьба, нам не жить на свете вразбежку! Мы должны покориться нашим недостаткам...

И Достоевский, словно срезанный в поле одинокий стебель крупного растения, повалился к ногам жены. Он всхлипывал чисто по-детски, навзрыд, торопливо говорил какие-то откровенные слова, но она не могла их разобрать.

Потом молча поднялся, подошёл к неубранной постели, ухватившись за холодный металлический шар, украшавший изголовье кровати, повторил уже ясно и твёрдо:

– Мы попытаемся наладить новую жизнь. Мы с тобой много пережили, мы оба больны, но мы любим друг друга. В конце концов, у тебя есть сын. У меня – ты и он. Мы венчанная Богом пара. И нам даны самые большие испытания. Мы бедные люди. Но будем превыше этого. Прошу, не мучай меня! Ведь теперь на свете не я и не ты в отдельности, как два одиноких существа. Теперь мы вместе! Мы же единое целое...

Жена медленно повернулась, собрала пальцы в полукружие и сжала их до хруста. Она никогда не видела таким Фёдора: жалким, растоптанным.

– Пусть будет так! Может быть, Бог приведёт нас к счастливому часу! Только дай, Федя, я расчешу волосы... И не называй меня больше по отчеству – это отдаляет нас друг от друга...

ГЛАВА 33

Мария разбирала свой девичий альбом, сопровождавший её от кромки родительского порога. В альбоме хранились стихи, неумелые эпиграммы, виньетки, составленные из разных цветов, шуточные посвящения друзей и даже три фотографии, снятые в Таганроге и Астрахани.

Под одной из коричневых фотокарточек она обнаружила ещё одну, совсем забытый снимок. Он был по исполнению хуже других, немного расплывчат. На обратной стороне сохранилась мелкая надпись: «М. Констант. Учёба в пансионате. Танец на дворянском балу «с шалью». Да, танцы «с шалью» были когда-то не только в моде, но и считались почётной привилегией особо

отличившихся воспитанниц закрытых учебных заведений. А прошло-то чуть более десяти лет... В конце альбома – знакомый до рези в глазах почерк. Но чей же он? Не Исаева, не Вергунова и не Достоевского – двое последних даже не держали этот альбом в руках. А Исаев такой «чушь» никогда не занимался.

Ниже написано дерзко и одновременно чувственно:

Страдания – ключ к пониманию чужих несчастий.

Любовь – это боль!

Кто-то же пытался напомнить ей об этом. Ах да!.. Это же ведь её собственный почерк. Но не той милашки, что выходила когда-то на любительскую сцену и вводила в исступлённый восторг знать большого города... Другой, скорый и в то же время тяжёлый почерк, словно корабль, обросший ракушками в тёплых морских водах... Выходит, писала она сама, но как сильно изменилась рука за последние годы! Но чьи это слова? Кто научил её таким мыслям? Наконец, при каких обстоятельствах, в каком порыве фразы попали в альбом... Она совершенно не помнила этого... Значит, с ней происходит что-то необъяснимое.

Мария попыталась встряхнуть головой и почувствовала себя разбитой пожилой женщиной со слабым телом, в котором силы исчезают быстрее, чем приходит весёлость и надежда на жизнь. В последнее время любое самое малое напряжение и страсть начинали утомлять её. Потом, правда, когда наступали минуты бодрствования, все внутренние желания могли неожиданно и десятикратно увеличиваться, но силы утолить их, к сожалению, оказывались на исходе. В ней шла постоянная борьба между духом и телом... Оттого она день ото дня становилась не только излишне чувствительной к болезни, но и чрезмерно нервной...

Остался в скорбном мраке ночей Исаев, проскочил мимо на белом коне Вергунов. Теперь рядом с ней Достоевский. Со своим величием, сладострастием и излишней чувственностью, со своими секретами за семью печатями. Она никогда не стремилась вызнать его тайны, считала их личным делом близкого человека. Но всё это создавало две параллельные жизни: её и Фёдора Михайловича. И Мария поймала себя на мысли: а не идут ли они бок о бок, но в противоположные стороны...

То, что случилось с ним в Барнауле, муж, по существу, так и не осознал. Словно всё произошло не с ним, а с другим человеком. Мария ни разу не напомнила Фёдору об этом случае. Значит, у него не отложилось в сознании и то, что пережили тогда окружающие его люди: не только она, но тот же Семёнов... Выходит, так было с ним каждый раз и раньше...

Достоевский, безусловно, догадывался о том, что произошло, отчего чувствовал себя угнетённым, он хотел быстрее выбросить всё из головы и никогда не вспоминать об этом. Но о последнем приступе знали все: и жена, и хозяйин дома, и прислуга. Значит, от него никуда не убежишь и не спрячешься! Поэтому Фёдору Михайловичу надо было развернуть жизнь в новое русло.

Но если раньше он оставался один на один со своей болезнью или иногда рядом оказывались друзья или знакомые, которые знали его тяжёлый недуг и помогали по мере возможности, то теперь всё стало по-иному: молодая семья, любимая супруга, находящаяся практически в неведении о страшной болезни мужа, горячие разговоры о высокой любви – эйфория жизненного полёта... И, оказывается, вся эта идиллическая постройка может разрушиться в один миг...

26

После драматического случая с мужем, как только семья добралась до Семипалатинска, Мария не на шутку расхворалась. До самого обеда лежала в постели, а по дому хозяйничал Василий. Готовил обеды, кормил Пашу и по просьбе хозяйки подавал какое-нибудь питьё или лекарства. Беды всегда накладываются одна на другую. Через неделю ей стало ещё хуже, по городу прошёл простудный вал, задевший и её слабое здоровье. Семипалатинск для Марии оказался местом, обнесённым роковой чертой...

До начала марта Мария почти не вставала с постели. Фёдор Михайлович, как ни старался, оказался не подготовленным к уходу за больным человеком. Основные заботы легли на Василия. Посильную помощь квартирантам оказывала хозяйка дома Ляпухина. Жена почтальона, женщина не только добрая, но и услужливая, готовила Марии всяческие отвары из овса и трав, приносила от татар в кринках свежий кумыс и поила свою подопечную.

Далеко в Кузнецке остались настоящие доктора Гриценко Николай Семёнович и его жена Анна Фоминична – дай им Бог здоровья! А здесь был единственный эскулап, который не годился

кузнечанам в подмётки. Процветали знающие доктора в Барнауле, но туда, когда приспичило позарез, рукой не дотянешься...

– Машенька, я найму экипаж до Барнаула. Обратимся к нужному доктору. Пётр Петрович окажет содействие...

Мария с трудом подносила пальцы к вискам.

– Мне не вынести такой дороги, Федя...

– Тогда пригласим доктора к себе. Ты согласна?

Жена движением головы отвергла и это предложение мужа. Она знала, что в его кармане после свадьбы осталось несколько рублей. Значит, надо залезать в новые долги. Женщина считала это равносильным самоубийству. Мария лежала с закрытыми глазами, будто дневной свет мог разорить её, и многократно повторяла:

– Не надо, милый... Я поднимусь на ноги сама... Не надо.

Так день за днём прошло более полутора месяцев. В середине апреля Мария Дмитриевна впервые за долгое время болезни встала с постели. Но ей показалось, что силы покинули её. Опираясь ослабевшими руками о кровать, стол и стены, она с трудом одолевала каждый свой шаг. Зато была уверена: Паша не останется сиротой...

ГЛАВА 34

Неожиданно в последних числах апреля из Омска в батальон нагрянула с проверкой целая свита во главе с начальником штаба Отдельного сибирского корпуса генерал-лейтенантом Яковлевым. Вместе с ним также прибыла высокая персона по части ревизии линейных укреплений. Беликов поставил батальон на уши и велел готовиться к торжественному смотру, назначенному Яковлевым на вторник пятого мая. С раннего утра до закатного часа прапорщик Достоевский маршировал в составе своей первой роты по батальонному плацу, стараясь держать фронт, к которому не лежала душа со времён пребывания в военном училище...

Немного ранее этих дней, двадцать первого апреля тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года, из Омска в Семипалатинск на почтовых выехал Семёнов. К месту он добрался через пять дней и встретился здесь с томским художником Павлом Михайловичем Кошаровым, который уже дожидался Семёнова в городе. Василий Демчинский всячески пытался скрасить свободное время томского гостя. Поскольку у

городе не имелось каких-либо достопримечательностей, он вызволил художника к Иртышу, на ближайšie озера, знакомил с развалинами старой крепости, водил на званые и незваные обеды к высшим лицам Семипалатинска. В один из предмайских дней они повстречали на улице офицера, невысокого роста, по-свойски разговаривающего с высоченным, как столб, солдатом...

– Что за люди? – спросил Кошаров. – Интересные типажи.

– Местная знаменитость прапорщик Достоевский, видный петербургский писатель, а второй – князь Александр Мещерский, сослан к нам за какие-то грехи с Кавказа.

– Князей Мещерских на Руси развелось много. Знаю только начинающего художника Арсения Ивановича... А о Достоевском наслышан довольно давно, это чрезвычайно интересная личность.

Все они, кроме опального князя, в этот день столкнулись на обеде у полковника Михаила Михайловича Хоментовского, который состоял в должности бригадного генерала и тоже готовился к началу своей экспедиции – его казаки наводили порядок в крупных спорах между киргизскими жузами. Киргизы полковника побаивались за суровый нрав и одновременно любили за справедливость, прозвав меж собой Приставом Большой Орды. Полковник, давний выпускник Пажеского корпуса, возглавлял военную и дипломатическую миссию на пространстве до самого южного степного укрепления Верного. Это был человек лет около пятидесяти, немного выше среднего роста, имеющий огромную природную силу. Лицо с непроходящим загаром, две большие залысины, узкие разрезы васильковых глаз. Киргизские женщины в глухой степи смотрели на него полуоткрыв рот и заслоня свои взоры ладошкой с растопыренными пальцами. Гостям полковник объявил, что завтра с отрядом отправляется в плановый поход, значит, на несколько месяцев, и потому есть уважительная причина отметить предстоящее странствие в приличной компании.

Хоментовский, в расстёгнутом мундире и с полным бокалом шампанского в руке, был на взводе.

– Я человек простых правил: нравится тебе кто-то или не нравится, но уживаться с ним всё одно надо. С этого я всегда начинаю разговор в степи...

Выпили за это. За то, что казак неприхотлив, на брюхе спит и спиной укрывается, тоже подняли тост.

На обеде Демчинский представил Достоевского Кошарову. В разговоре выяснилось, что оба они почти в одно и то же время жили и учились в Петербурге. Кошаров узнал, что Фёдор Михайлович имеет интерес к живописи. Художник заметно оживился, когда услышал хвалебный отзыв на полотно Брюллова «Последний день Помпеи».

– Так я же в Академии художеств обучался, в классе у самого Карла Павловича...

– И говорили с ним вот так попросту? Кошаров усмехнулся.

– Мне и у Айвазовского пришлось набираться уму-разуму в Феодосии...

– Ну, сударь, вы коснулись целой эпохи русского художества. Для меня разговор на эту тему очень занятен...

В свою очередь Кошаров поведал о том, что в скорбный зимний день сорок девятого он был на Семёновском плацу... Видел, как у Григорьева после команды строевого офицера «Ружья на изготовку!» спала с глаз повязка и как дико он закричал...

Достоевский молча встал и покинул помещение. Присутствующие отнеслись к происшедшему без особого внимания. Только Демчинский заметил: «Бывает. Всё утрясётся!»

На следующий день Достоевский в полном мундире появился в квартире Демчинского, где остановился художник.

Извинился:

– Я, Василий Павлович, перенёс бедность, тюрьму, ссылку, ужас смертной казни, пережил время несчастной любви, разрыв с многими друзьями... В конце концов, я не могу похвастаться особым душевным и физическим здоровьем... Но вы случайно вернули меня в самый злосчастный день моей жизни. Я всюду вожу с собой саван, в который был облачён тогда на Сенной площади... Вы воскресили во мне прошлое... Но я не хотел, чтобы кто-то видел на моих глазах слёзы...

Незаметно разговор перешёл к другим темам.

– Сегодня с Петром Петровичем уезжаем в Заилийский Алатау, – сказал Кошаров. – Работы там – до белых мух. Буду рисовать пейзажи, редкостные растения, быт местных жителей. Вам, Фёдор Михайлович, привезти какую-нибудь кар-

тинку для души? Кстати, вон и наш Семёнов в плетёном тарантасе катит.

– Даже не знаю, что сказать... С интересом послушал бы вас и посмотрел, как вы пишете свои иконы... Что видите, что слышите, о чём думаете в такую минуту... Скажите, лики святых – это ваша индивидуальная фантазия или ответ на вопросы извне, оттуда? – И показал пальцем, страдающим суставной болезнью, вверх.

– Это, к сожалению, не короткий разговор. Я постараюсь вам, Фёдор Михайлович, ответить при следующей встрече...

– А картину бы хотел видеть такую: много-много разных дорог... И все они стекаются в одну. А та уже идёт прямо к сердцу!

– Не обещаю. Я, думаю, столько дорог в жизни ещё не прошёл. Наверяд ли что у меня выйдет.

– А в моей душе, кажется, получилось. Только никому не советую идти по моим стопам... Можно сорваться...

Подъехал Семёнов.

– Какая удача! Одного надо срочно забрать, а со вторым до боли хочу распроститься.

Великий путешественник соскочил с тарантаса. Обхватил ручищами тело Достоевского.

– До новых встреч, любезный Фёдор Михайлович! Марии Дмитриевне от меня особый поклон! Она у тебя удивительная красавица и страстотерпица! Уж я-то, поверь, доподлинно знаю женщин! Таких людей на земле непросто сыскать. Да и то: только среди святых! Не обижай её никогда, дружище! Пашке от меня щелканы закати, но понарошку!..

ГЛАВА 35

...Мария заглянула в комнату сына. После переезда из Кузнецка в Семипалатинск он каждый день почти до обеда спал безмятежным сном. Почувствовал мальчик наконец своё место, пропали прежние страхи. Она прошла дальше по своему дому, который с трудностью пыталась обживать. Рядом со спальней Паши размещалась маленькая столовая с кухней. К кухне примыкало крохотное помещение наподобие чулана, в нём ночевал денщик...

Ей понравилась большая угловая гостиная, где муж проводил ночи после их приезда сюда. Меблировка самая обыкновенная, не новая, но и не изношенная, как в Кузнецке. Прямо от входа высится диван, рядом с ним кресла и стулья, покрытые тиснённым ситцем с букетами цветов. Перед диваном – прямоугольный стол. Слева

от кабинетной двери – изогнутый диванчик, у углового окна – широкое кресло. Вблизи окна в деревянной посудине – куст волкамери, растения под народным названием невинная любовь, с округлыми листьями и красно-белыми соцветиями. На окнах и дверях – занавеси. Тихо, мило и всё так просто. Подобного уюта не было у Исаевых и в ту пору, когда они жили до отъезда в Кузнецк, и даже когда-то в Петропавловске...

Тихими шагами зашла в кабинет мужа. На столе – чернильный прибор из серого мрамора, на нём – чернильница с откидной медной крышечкой, подушка с промокательной бумагой и перьевая ручка из кости. Рядом – потёртая по углам коричневая книжечка с распятием Христа в центре обложки. Евангелие. Аккуратно сложенная стопка писем в конвертах и стопа писчей бумаги – на верхнем листе, придавленном канцелярским ножом для вскрытия конвертов, беглой строкой выведено: «Записки из Мёртвого дома»... Отличимый от других, знакомый по долгой переписке почерк мужа. Она не заглядывала сюда больше месяца, но и без неё в кабинете был идеальный порядок.

Скрипнула петлями дверь. В зал вошёл денщик. Заметив хозяйку, смутился. Мария уловила замешательство солдата.

– Проходи, Василий! Я женщина не строящая. По дому могу делать многое сама. Просьба одна: помогать мне в неподъёмных и срочных делах...

– Что вы, Марья Дмитриевна! Я человек, обученный, кроме военных, ещё другим искусствам. Могу быть полезен кучером, поваром, лакеем... Батюшка у меня – голь голимая, а всё хотел, чтоб я не последним человеком стал. Незадолго до назначения к вам прошёл успешное обучение кулинарному делу. Буду рад принести пользу... Ну и с Фёдором Михайловичем, когда у него случается... нахожусь всегда рядом... Пообвыкся...

– У него всё это в той поре или как? Не чаще и не реже?

Василий не уловил тайного намёка в словах хозяйки.

– В той, в той, Марья Дмитриевна. Когда без душевных страданий – не чаще одного раза в месяц. А если расстройство какое, по службе, к примеру, или вот волнения со свадьбой были, то и до трёх раз в месяц случалось. Ровного счёта этому никто не ведёт...

И осёкся. Понял, что коснулся запретной темы.

– Ладно, Василий, пусть разговор останется только для нас с тобой. Фёдору Михайловичу он совсем не любопытен. Расскажи-ка лучше, как оладышки можешь сготовить по-быстрому?

– Тут, Марья Дмитриевна, дело незамысловатое, но имеется два разных варианта...

– Неужели, Василий, ты знаешь и такое? В тебе живёт настоящий профессор кислых щей. – И рассмеялась звонко, весело, с неподдельной радостью. Давно она не слышала от себя такого невымученного смеха.

Широко распахнулась дверь зала, и на пороге показался хозяин.

– Ну слава Богу, начальство омское отбыло. Какой груз с души свалился... Буду молиться до самого конца дня. Кстати, Машенька, есть ещё одна радость. Беликов всё-таки не забыл про наш медовый месяц. Двадцатого мая отбываем на Озёрский форштадт. Сроку на отдых дал два месяца. Ты, Василий, начинай готовить провиант и амуницию. Лодки там есть, жильё маломальское тоже под рукой. Озеро, как в раю, – тихое, тёплое и берега в кучерявой зелени. Что важно, почти рядом. Отсюда всего в шестнадцать верстах.

29

– А с комарьём как? Так же, как на нашей, Иванцевской протоке по вечерам? – замахала руками жена.

– Нет, милая. У нас солдаты дымовыми заветами обходятся. В костры сырую траву бросают... Комар близко к воде не подходит.

Паша проснулся и с интересом рассматривал давно не разговаривавших между собой родителей. Поэтому решил задать самый главный для него вопрос.

– А рыбу с лодки ловить будем?

– Будем, Павлуша! Теперь мы многое перевернём... Только в лодку без Василия ни-ни! Будешь у нас главным весловым!

– Ура, мам! Буду на вёслах, их благородие разрешили!

Достоевский, польщённый словами пасынка, улыбочиво подался вперёд.

– Я ж вам забыл рассказать о третьей радости. На наши хлопоты получен положительный ответ из Омска. Пашу в начале августа туда отвезёт наш хозяин Ляпухин. – Глаза Фёдора Михайловича загорелись светлым огнём. – Разговор с ним уже состоялся. Так что готовься, предстоящий кадет! Будем теребить Беликова: пусть

выдаёт будущему офицеру подорожную и прогонные...

– Ну слава Богу! – глянула на мужа Мария.

– Это же превеликое дело, ваше бла... То ись Фёдор Михайлович! – встрял Василий. – Пашенька поедет в кадетский корпус...

– Конечно, конечно...

Достоевский продолжал говорить, а сам не отводил взгляда от жены. Всем видом, выражением лица и словами показывал: то, что он в своих силах сделать, сделает ради неё и их сына.

Ну должна же, наконец, затянуться рана, глубоко задевшая двух близких человек...

Мать велела Паше умываться и садиться за стол.

– Чем ты будешь сегодня потчевать, Василий? – поднял взор Фёдор Михайлович.

– Никаких крем-брюле не обещаю. А сырники с прохладным молоком будут. Ещё для заправки ушца со щукой есть, только перец, если кто будет, кладите по вкусу. Ну и чай в заварнике плиточный. Остатки запасов господина Врангеля...

Мария Дмитриевна смахнула со лба прядку волос.

– Там, Василий, в горшке под столом варенье жимолостное. Будь добр, открой. Фёдору

Михайловичу в Кузнецке так и не удалось его попробовать... Больше года назад с Павликом ягоду брали в хозяйском саду... Дай Бог здоровья Михаилу Дмитриевичу!

«Кажется, налаживается... – возносясь в душе, подумал Достоевский. – Надо же как-то начинать новую жизнь».

Зачем-то прошёл скорым шагом в свой кабинет и тут же вернулся с пустыми руками в зал.

– Вы просто не знаете, как я мечтал об этом варенье.

И впервые за последнее время в его глазах промелькнул лучезарный свет. Он постоял в задумчивости и неожиданно произнёс:

– Да, действительно дороги наши неисповедимы!..

.....

...С ночи Фёдора Михайловича мучил самый трудный вопрос жизни, и он, как всегда в таких случаях, раскрыл наугад лежавшее на столе Евангелие. На левой пожелтевшей от времени странице сквозь очки прочитал: «...Иоанн же удерживал его... Но Иисус сказал ему в ответ: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду».

...До этой роковой минуты оставалась жизнь длиною в двадцать три года, восемь месяцев и двадцать два дня.

